

ПОРТРЕТ

Ульянов



Я знаю его давно, так давно. Когда нас свела судьба, мы были молоды, чего сегодня про нас не скажешь. Но, мне кажется, изменился он мало. В чем тут секрет? Скорее всего ощущение перемены связано с преображением сущности. Проседе, редющие волосы еще не заставляют увидеть в давнем спутнике нашей жизни необратимые превращения. Тем более, коли не было долгой разлуки. Обращают внимание новые свойства, а не прорезавшиеся морщины.

В те годы, когда я его узнал, он был так же крепок и основателен, в обществе так же немногословен, предпочитал послушать других. Чувство прочности было в нем становым. Все это и ныне при нем — разве что говорить ему приходится больше, но в таком уж режиме он ныне живет.

Мне было странно, что он актер. С детства я представлял артиста совсем иным и, видимо, создал свой образ человека подмостков, к которому постепенно привык. А сближение с актерской средой, казалось, могло только утвердить в справедливости моих представлений.

Актер, полагал я, и в домашнем общении — всегда повышенная температура, преувеличенность эмоций, особая нервность и возбудимость. И как иначе при повседневности, полной таких душевных затрат и утомительной смены ритмов. При этой постоянной готовности к публичному самосожжению. У артистов и в человеческих связях свой стиль, более броский и резкий, чтобы не сказать — патетичный. Даже у Марии Николаевны Ермоловой, которая, по общим свидетельствам, была чрезвычайно сдержанной женщиной, в письмах то и дело встречаются «чудные воспоминания» и «дивные наслаждения». Скажете, время было такое? Но ведь и Чехов жил в то время. Одним словом, внутренние котурны казались мне почти неизбежными в этой загадочной профессии.

Да и внешность актера, несомненно, должна бы его выделять из массы. Однако Ульянов, безусловно, отказывался соблюдать традицию. Его неизменная уравновешенность естественно сочеталась с обликом. Человеку, увидевшему его впервые, легче было принять его за лесоруба, плотогона, умелого мастера, нежели за служителя муз. Почти магнетическая притягательность, которая так хорошо известна, обнаруживалась не сразу. Она обеспечивалась его значительностью, его человеческим содержанием, а чтобы понять это, нужно время.

Время потребовалось нам всем — и друзьям, и зрительской аудитории. А на первых порах, вполне естественно, что я не мог воспринять его как лицедея. Думаю, впрочем, и теперь, что это слово плохо с ним вяжется.

Лицедейство неразрывно с игрой, как в узком, так и в широком значении этого многогранного слова. Еще точнее — с потребностью в ней. Иран Михайлович Москвин устраивал у себя дома спектакли, искал для них охотничьих партнеров — неутомимой была эта жажда. Но представить того, о ком я пишу, в этом качестве для меня затруднительно.

Да и сама идея игры, игры как отношения к жизни, ощущения мира как театра, той игры, о которой Бёльль однажды сказал, что она всегда важнее догматов, эта идея моему герою, безусловно, далека и чужда. Ибо основа его творчества — миссионерская. Он выходит на сцену (а также на экран и в эфир) проповедать, совершенствовать, наставлять. Причем это учительство ни в коей мере ему не навязано извне — ни шумным общественным признанием, ни узаконенным положением. Оно выражает его суть. Он по призванию (и убеждению) — моралист, это его так сближает с земляками Астафевым и Распутиным, с их проповедническим пафосом.

Такая позиция, весьма нелегкая для литератора, еще труднее для артиста. Ибо зависимость от зрителя сильнее, ощутимее и болезненнее, чем зависимость от читателя. Отзвук, доходящий до автора, смягчен и временем, и расстоянием, актер в этом смысле открыт, уязвим и, более того, беззащитен.

А зритель между тем неосознанно (а иногда и вполне сознательно) предпочитает, чтобы его не учили, а доставляли ему удовольствие. Не слишком он любит, чтобы ему показывали несовершенства жизни и его собственные несовершенства. Оттого-то невольное заискивание перед публикой сплошь и рядом ломает нестойкие души. Признаваться в этом актеры не любят. Много удобнее говорить о глубоком уважении к залу.

Однако культ зрителя опасен ничуть не меньше, чем всякий другой. Он основан на слепоте, бездумии, на желании угодить и потрафить. Теоретически он исходит из посыла «искусство — для зрителя». Это само по себе звучит, но на практике торжествует ремесленничество, и это уже не для зрителя, а против него. Да и актеру это не проходит даром: делает его мысли и чувства, да попросту его самого, и примитивнее, и площе. Все это превосходно известно, но что из того, если так заманчиво применить и приспособиться? Принять вызов и остаться собой под силу только могучим натурам.

Ничуть не легче и посягнуть на сложившиеся стереотипы. Вроде они нам и надоели, но новая, необычная правда вызывает не меньшее сопротивление. Как тут быть, привычка — вторая натура, замена счастью, мать пристрастий. Недаром же все эволюционисты отлично чувствовали эту тягу к умеренности, а новаторам революционного толка всегда доставалось на орехи. В искусстве этот древний закон действует с юношеской безотказностью.

На сей раз перед нами характер, который достаточно бесстрашен, чтобы встретиться с неожиданной истиной, но которому важнее всего не отречься от своего естества. То, что он не может включить в круг своего понимания жизни, где он чувствует тканевую несовместимость, — там его вдохновение гаснет. Хотя я не раз и не два убеждался, что преображение вполне в его силах и мир его воплощений широк, первое впечатление было верным. Он всегда остается тем, кто он есть, незави-

симо от своих персонажей — гуманистов или злодеев, обывателей или подвижников, воителей или мудрецов. Он всегда человек своей темы, своей песни, своей судьбы.

И его человеческая судьба при всей исключительности — судьба народная. Не только тогда, когда он играет своего негибсаемого Председателя, но и когда он предстает нам в шукинском затурканном мужичке. Когда встречается маршала Жукова и развенчивает генерала Горлова. Он создает не того или иного представителя своего народа, нет — весь народ, со всем светлым и темным, что в нем есть, с его трудолюбием и бесполезной тратой сил и плодов труда, с его героизмом и глухотой, с великодушием и безжалостностью. Вотличие от Кориолана, который «любит свой народ, но с ним в одной постели спать не станет», он и любит, и готов разделить вместе с народом его удел. Любит, но никогда не льстит.

В этом смысле тема его — всечеловеческая тема. Это очень русский человек и очень русский актер, но, ведя речь о его искусстве, я подчеркиваю его народное, а не этническое начало. Эти два понятия не во всем совпадают, они не вполне равновелики, и с человеческой природой первое соотносится больше. А общие свойства этой природы жизненно необходимо познать и особенно на пороге века, когда мир стал теснее, взаимосвязаннее, а участь людей, его населяющих, стала общей планетарной участью.

Он был римским триумвиром и римским сатриком, английским монархом и императором Франции, был Бригеллой, был молодым греком, был Клаасом, сожженным фламандцем, был вечным тружеником Едигеем. Его молочник Тевье — живая мечта о братстве и понимании, о жизни по законам совести и разума. И эта всечеловечность, столь мощно, столь страстно звучащая в его творчестве, всегда являет нам, сколь убог и ущербен всякий национализм.

Не знаю подобного ему самоеда. Похоже, талант его угнетает. Чем больше успех, чем выше признание, тем сильнее его озабоченность. Любимый день его жизни, по сути дела, — изнурительное стремление доказать людям, далеким и близким, но прежде всего себе самому, что достигнутое — не дар случайный, что оно завоевано по праву. Легких трофеев он избегает, штурмовать предпочитает вершины — воцелился Рязина, вспыхивал Дмитрием Карамызовым, обрушил в эфир две эпопеи — от персид до последней страницы прочел «Тихий Дон» и «Мертвые души». Ни дня передышки, ни часа отдыха, все истово, взалел, на износ, каждый раз вычерпывая себя до доннышка, но, оказывается, до дна не достать.

Путь его, несмотря на все лавры, соткан не из одних побед. Были и у него поражения. Случалось, что он пытался насильственно выплеснуть клокотавшую лаву — в наказание уходила подлинность. Ибо жизнь его духа вершится в глубинах, и естественный выход ее на поверхность — не извержение, а созревание. Но и в неудачах его было достоинство — они ни разу не дали повода для разочарования в его личности.

В жизни он мягче и уязвимее, чем на подмостках и на экране, где от чего так грозно исходит лавина, несокрушимая воля. Как всякий одержимый художник, истово служащий своему таланту, он инстинктивно избегает конфликтов, которые могут отвлекать от дела — не до них — и, однако ж, как всякий талант, неизбежно оказывается в них втянутым. Эта парадоксальная доля каждого подлинного дарования заслуживает своего исследования.

Но он прирожденный общественный деятель. Иной раз даже берет досада. Все кажется, что десятки обязанностей висят на нем тяжельми гирями, что звания мешают призванию, что дни уходят и тает срок. Иной раз так и тянет сказать, что артисту необходима тайна, жизненно важен незримый барьер, что отделяет сцену от зала. И все же я этого не говорю.

Ибо он таков, каков есть. Так его вырубил природа, столько вложила сил и страстей. То, что для другого предел, для него — условие существования. Другой надорвется и изойдет, а он устоит, выдержит, выдюжит. Жить может он только так, не иначе. Не выделенный из человеческой массы. Ее неотторжимая часть. Ее лицо. Слово выхваченное стоп-кадром, привычное, будничное лицо в толпе. Но чем дольше и внимательнее еглядываешься в это общее выражение лица, тем явственнее видишь и понимаешь его особость и неповторимость. Понимаешь и отчего ему, Михаилу Александровичу Ульянову, люди поверили. И позволили выразить то, о чем думают, чем болеют, чем мучается душа.

Леонид ЗОРИН.

● М. Ульянов беседует с директором Пушкинского государственного заповедника С. Гейченко.

Фото Ю. Белинского (ТАСС).